

The background of the book cover is a detailed illustration of a man in a black top hat and long coat, standing on a street in a historical setting. He has a white beard and is holding a cane. In the background, there are ornate buildings and a large domed structure, possibly a cathedral. The overall style is reminiscent of a classic painting or a high-quality digital illustration.

Владимир Кожедеев

**Доверенные лица
императорского двора.
Книга 2. Имперский
золотой жетон «За
верность правде»**

Владимир Кожедеев

**Доверенные лица
императорского двора.
Книга 2. Имперский золотой
жетон «За верность правде»**

«Автор»

2026

Кожедеев В.

Доверенные лица императорского двора. Книга 2. Имперский золотой жетон «За верность правде» / В. Кожедеев — «Автор», 2026

Петербург, 1876 год. Год спустя после раскрытия дела 47. Лев Ильич Гаршин, частный сыщик, хромой отставник, человек с тростью, с имперским золотым жетоном, который вернул правду в империю, где она была забыта, живёт спокойной жизнью. Контора на Малой Садовой работает, дочь Соня помогает отцу, верный Сомов рядом, а старые враги — Шувалов, Мещерский, Долгорукий — либо в тюрьме, либо в ссылке, либо в сумасшедшем доме. Но правда, как известно, не бывает полной. Из Франции приходит тревожное письмо от Ключарева: в европейской прессе появляются намёки на то, что русский заговор 1845 года не был раскрыт до конца. Вслед за письмом — анонимная посылка со старыми расписками и векселями, подписанными человеком, которого считали мёртвым тридцать лет. А затем — покушение на Соню, газетная травля, арест и тюрьма для самого Гаршина. Кто-то очень влиятельный замечает следы. Кто-то, кого не тронуло прошлое расследование, поднимает голову. Кто-то решает, что правда должна умереть вместе с теми.

© Кожедеев В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1.	5
Глава 2.	10
Глава 3.	14
Глава 4.	19
Глава 5.	24
Глава 6.	29
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Владимир Кожедеев

Доверенные лица императорского двора. Книга 2. Имперский золотой жетон «За верность правде»

Глава 1.

Осень 1876 года выдалась в Петербурге тревожной.

Не той тревогой, что крадется по улицам в тумане, заставляя прохожих озираться через плечо. Нет. Это была тревога иная, глубокая — та, что гнездится в душах людей, когда над городом стущаются не облака, а предчувствия. В воздухе пахло переменами. Газеты пестрели заголовками о покушениях, о студенческих волнениях, о том, что император, прошедший через шесть выстрелов Дмитрия Каракозова, теперь редко покидает Зимний дворец, а правит страной не столько он, сколько его министры, каждый из которых тянет одеяло на себя.

На Малой Садовой, в конторе титулярного советника в отставке Льва Ильича Гаршина, эта тревога ощущалась особенно остро. Не потому, что здесь знали больше других — просто здесь умели слушать тишину. А тишина в Петербурге осенью 1876 года была красноречива: она говорила о том, что старый порядок трещит по швам, а новый еще не родился, и в этой межвременной пустоте зреют заговоры, страшнее тех, что были раскрыты год назад.

Гаршин сидел в своем кресле у камина. За окном серело, моросило — обычная петербургская погода, располагающая к размышлениям и меланхолии. Перед ним на столе, среди россыпи старых дел, пожелтевших копий и конвертов с сургучными печатями, лежала стопка бумаг, которые он не трогал почти год. Бумаги эти пахли плесенью, смертью и чем-то еще — тем неуловимым, что остается от больших событий, когда они превращаются в историю.

С тех пор как отгремели выстрелы на Крестовском острове, как был арестован Шувалов-Бельский, а князь Мещерский отправился в тобольскую ссылку, прошло тринадцать месяцев. Тринадцать месяцев, в течение которых Гаршин пытался жить обычной жизнью — брал мелкие дела, помогал заблудшим обывателям находить пропавшие кошельки и неверных жен, редко вспоминал ту бесконечную ночь, когда он думал, что потерял друга, а нашел его вновь.

Он думал, что прошлое закрыто. Он ошибался.

Рука его, лежавшая на конверте, дрожала — не от старости, не от болезни, а от того внутреннего напряжения, которое возникает, когда пальцы касаются чего-то слишком личного. Он знал этот конверт. Он прятал его в сейф почти год, на самое дно, под другие бумаги, чтобы не видеть, не вспоминать. Но сегодня, когда Соня ушла на свои курсы, а Сомов отправился на Лиговку по какому-то мелкому делу, Гаршин остался один. И в одиночестве старые раны всегда открываются легче.

Конверт был из плотной, дорогой бумаги — той, что продается только в лучших лавках Европы. На нем стоял штемпель Марселя, датированный мартом 1876 года, и обратный адрес, который ничего не говорил постороннему: «Господину Дюрану, почта до востребования». Но Гаршин знал, что за этим псевдонимом скрывается Александр Дмитриевич Ключарев — его друг, его брат по духу, человек, который год назад позволил миру думать, что он мертв, и воскрес в тот самый миг, когда правда наконец вышла на свет.

Письмо пришло через полгода после тех событий. Гаршин прочитал его тогда один раз, дрожащими руками, потом перечитал еще дважды, после чего запер в сейф и не открывал больше. Не потому, что боялся. А потому, что не мог смотреть на строки, написанные знако-

мым, торопливым почерком, не чувствуя той боли, которую причинял ему Ключарев своей мнимой смертью.

Сегодня, спустя еще полгода, он решил, что настало время перечитать письмо. Спокойно. Как сыщик, а не как друг. Как человек, который ищет правду, а не тот, кто прячется от прошлого.

Он достал из кармана маленький нож для бумаги — подарок Сони на прошлое Рождество — и аккуратно надрезал конверт. Извлек сложенный вчетверо лист. Бумага была тонкой, почти прозрачной — французская, с водяными знаками в виде лилий. Почерк — тот самый, размашистый, с нажимом, который Гаршин узнал бы среди тысячи.

«Мой дорогой Лёва,

Пишу тебе из Марселя, где я провел зиму. Климат здесь мягче, чем в твоём Петербурге, и рана на затылке почти не болит — только когда ветер с моря, тогда начинает ныть, напоминая о том, что я должен был умереть, но не умер. Врачи говорят, что это на всю жизнь. Я не жалею. Жизнь — хорошая плата за шрам.

Но не о погоде я хочу писать. И не о здоровье.

Лёва, я переписываюсь с нашими старыми знакомыми в Париже и Лондоне. Ты знаешь, я не оставил ту работу, которую начал. Не ту, за которую меня пытались убить, а ту — другую, более важную. Я ищу правду о 1845 годе. И я нашел нечто, от чего у меня стынет кровь.

В европейской прессе — в лондонской «Таймс», в парижском «Фигаро», даже в берлинских газетах — в последние месяцы стали появляться странные публикации. Они не называют имен, но между строк читается одно и то же: «русский заговор 1845 года не был раскрыт до конца». Кто-то очень искусно и очень дорого оплачивает эти статьи. Кто-то хочет, чтобы правда вышла наружу. Но кто-то еще хочет, чтобы эта правда была искажена, перевернута, использована против России.

Лёва, я провел свое небольшое расследование. Один из моих корреспондентов в Лондоне, журналист, специализирующийся на русских делах, сообщил мне, что источником этих утечек является некий эмигрант, живущий в Швейцарии под именем Петрова. Но за этим Петровым, по его сведениям, стоят люди, которых он называет «хозяевами». Эти «хозяева» — не эмигранты. Они по-прежнему живут в России. Они по-прежнему у власти. И они по-прежнему держат в руках нити дела № 47.

Помнишь, ты говорил мне тогда, на Крестовском: «Правда вышла на свет»? Ты ошибался, Лёва. Вышла только часть правды. Самая страшная часть — та, что ведет в самые верхи, — осталась в тени. Шувалов-Бельский был лишь исполнителем. Мещерский — лишь прикрытием. За ними стоял кто-то третий. Кто-то, кого не тронуло следствие. Кто-то, кто до сих пор определяет политику империи из-за кулис.

Я не знаю имени этого человека. Но я знаю, что он существует. И я знаю, что он уже знает о тебе. О том, что ты раскрыл дело № 47. О том, что ты жив и продолжаешь работать. О том, что ты опасен.

Берегись, Лёва. Твоя жизнь снова в опасности. Не доверяй никому из новых знакомых. Не верь внезапным предложениям помощи. И помни: старые враги не умирают. Они просто ждут своего часа.

Я остаюсь твоим другом навсегда. Даже из Марселя. Даже из-за границы. Даже если мы больше никогда не увидимся.

Твой Саша.

P.S. Соню обними от меня. Скажи ей, что я горжусь ею. И что я храню ту маску — белую, Арлекина, — которую она взяла с собой в ту ночь. Она теперь висит у меня над кроватью. Напоминание о том, что правда иногда прячется под маской».

Гаршин дочитал письмо и положил его на стол. Руки не дрожали теперь — он взял себя в руки. Но внутри, где-то глубоко, в том месте, где живет то самое предчувствие, которое не раз спасало ему жизнь, заворочался холодный, липкий страх.

Он думал, что после ареста Шувалова-Бельского всё кончено. Он верил, что император, приказавший провести следствие, очистил Авгиевы конюшни империи от той грязи, которая копилась там тридцать лет. Он наивно полагал, что правда, которой он служит, — это монолит, а не мозаика, где всегда не хватает одной детали.

Он ошибался.

Кто-то — не Шувалов, не Мещерский, а кто-то третий, более могущественный, более скрытный — уцелел. Этот кто-то не просто уцелел — он продолжал плести свою паутину, используя Ключарева, Гаршина, Шувалова, всех их как марионеток в спектакле, которого никто не видел целиком.

Гаршин закрыл глаза и попытался представить этого человека. Должен был быть кто-то, кто стоял выше графа и князя. Кто-то, кого не могли тронуть ни допросы, ни аресты. Кто-то, чье имя не фигурировало в бумагах дела № 47, но чья тень лежала на каждой странице.

Император? Нет. Николай I умер, Александр II — тоже не тот: он помогал раскрытию дела, он приказал арестовать Шувалова, он принял Гаршина во дворце. Не император.

Кто-то из великих князей? Возможно. Константин Николаевич, либерал, враг консерваторов, или Николай Николаевич, консерватор до мозга костей, или кто-то третий, кто умел держаться в тени, не привлекая внимания, но управляя всеми процессами, как кукловод марионетками.

Гаршин открыл глаза, посмотрел на камин. Угли догорали, и в их затухающем свете тени на стенах казались живыми — они шевелились, переплетались, образуя причудливые фигуры, которые при известной доле воображения можно было принять за силуэты заговорщиков.

— Тени бывшего, — прошептал он. — Вы не ушли. Вы просто затаились.

В дверь постучали. Условный стук — два коротких, один длинный. Сомов.

— Войдите, Андрей Петрович.

Сомов вошел, стряхивая с пальто капли дождя. Год почти не изменил его — все такой же кряжистый, с окладистой бородой, с трубкой, зажатой в зубах, с револьвером на поясе. Только морщин стало чуть больше, а в глазах прибавилось той тяжелой, светской усталости, которая появляется у людей, когда они начинают слишком много знать о том, как устроен мир.

— Лев Ильич, — сказал он, увидев открытый конверт и письмо на столе. — Вы это читали? Опять?

— Опять, — Гаршин кивнул. — И, кажется, понял, что не зря откладывал.

— Что там? Новые тревоги?

— Старые, Андрей Петрович. Только лучше спрятанные.

Он протянул письмо Сомову. Тот надел очки — за последний год он начал пользоваться ими постоянно, хотя раньше только притворялся, что видит хорошо, — и пробежал глазами по строкам. Читал он медленно, шевеля губами, и по мере того как смысл доходил до него, лицо его становилось все мрачнее.

— Кто-то из верхов, — сказал он, откладывая письмо. — Кто-то, кого не тронули.

— Да. И этот кто-то, судя по всему, имеет достаточно средств, чтобы оплачивать статьи в европейских газетах. Дорогое удовольствие, Андрей Петрович. Не для бедного человека.

— Думаете, это тот, кто стоял за спиной Шувалова?

— Уверен. Шувалов был исполнителем. Сильным, жестоким, умным, но всего лишь исполнителем. Мещерский — связным, человеком, который обеспечивал прикрытие. Но был кто-то третий — тот, кто отдавал приказы. Кто-то, кто, возможно, до сих пор получает выгоду от того, что дело № 47 не раскрыто до конца.

Сомов подошел к камину, постоял, глядя на огонь. Потом спросил, не оборачиваясь:

— Что будем делать, Лев Ильич?

Гаршин помолчал. Потом сказал:

— Сегодня — ничего. Слишком поздно, слишком сыро, слишком темно. Завтра утром встретимся с Соней, с Сашей, с Хромовым. Составим план. Решим, как искать этого человека.

— А Ключарев? Он нам не поможет?

— Ключарев — в Марселе. И, судя по тону письма, он не собирается возвращаться. Он будет писать, предупреждать, возможно, пришлет еще какие-то сведения. Но действовать — мы должны сами.

— Как всегда, — Сомов усмехнулся, но усмешка вышла грустной. — Мы, Лев Ильич, как всегда, сами.

Гаршин хотел ответить, но в этот момент дверь снова открылась, и на пороге появилась Соня. Она была в новом платье — темно-синем, с высоким воротником, — и в руках держала стопку книг и конспектов. Косички, которые она носила еще год назад, исчезли, сменившись аккуратной прической, а взгляд стал тем самым — взрослым, серьезным, в котором иногда сквозило что-то отцовское.

— Папа, — сказала она, заметив напряжение в комнате. — Что-то случилось?

— Ничего, — ответил Гаршин, пряча письмо в конверт. — Просто... старые дела. Не бери в голову.

— Ты опять мне не доверяешь, — в голосе Сони прозвучала обида. — Я уже не ребенок, папа. Я твой помощник. Я имею право знать.

— Знать — да, — Гаршин поднялся, опираясь на трость. — Но не сегодня. Сегодня — отдыхай. Завтра поговорим.

Соня хотела возразить, но, взглянув на отца — на его бледное лицо, на дрожащие руки, на письмо, которое он так поспешно спрятал, — не стала спорить. Только сказала:

— Хорошо, папа. Завтра. Но, пожалуйста, не думай, что я маленькая. Я прошла через ту же ночь, что и ты. Я имею право знать.

— Имеешь, — согласился Гаршин. — И узнаешь. Завтра.

Он подошел к ней, обнял, поцеловал в макушку. Соня прижалась к нему — на секунду, на короткое мгновение, став той самой десятилетней девочкой с дагерротипа, которую он так любил. А потом отстранилась.

— Я пошла к себе. Буду готовиться к завтрашним занятиям.

— Иди.

Она вышла. Сомов, стоявший у камина, покачал головой.

— Растет ваша дочь, Лев Ильич. Характер — в вас. Упрямство — в покойную супругу. Беда с такими детьми.

— Не беда, Андрей Петрович, — Гаршин посмотрел на дверь, за которой исчезла Соня. — Гордость.

Он снова сел в кресло, взял письмо Ключарева, посмотрел на него долгим, тяжелым взглядом. Потом положил обратно в конверт, засунул конверт под стопку других бумаг — подальше от чужих глаз.

— А теперь, — сказал он, — рассказывайте, Андрей Петрович, что у вас на Лиговке случилось. Говорят, там опять шпана буйствует?

— Буйствует, — Сомов обрадовался смене темы. — Двое купцов ограблено, один извозчик до полусмерти избит. Я думал, после той истории, как мы с вами налётчиков брали, они поутихнут. Нет, Лев Ильич, не утихли. Совсем страх потеряли.

— Завтра займемся, — пообещал Гаршин. — Сегодня — хватит. Идите домой, Андрей Петрович. Спать пора.

— А вы?

— А я еще посижу. Подумаю.

Сомов понял, что спорить бесполезно. Он взял пальто, поклонился и вышел. Гаршин остался один.

Он сидел в кресле, глядя на догорающий камин, и думал о том, что Ключарев прав. Правда, которой он служит, никогда не бывает полной. Всегда есть кто-то, кто знает больше. Всегда есть нить, которая ведет дальше. Всегда есть тень, которая падает на свет, делая его не таким ярким, каким он кажется.

Он думал о том, что завтра ему предстоит сказать Соне всё. Рассказать о письме, о заговоре, о том, что их ждут новые испытания. Он боялся этого разговора не потому, что Соня была слаба. А потому, что она была сильна — и могла, узнав правду, захотеть действовать. А действовать, когда враг находится в верхах, когда он имеет доступ к любым документам, к любой охране, к любому оружию, — это смертельно опасно.

Но он знал и другое: молчать больше нельзя. Если заговор существует, если кто-то действительно пытается использовать нераскрытые тайны прошлого, чтобы влиять на настоящее, то медлить нельзя. Нужно действовать. Нужно искать. Нужно найти этого человека, прежде чем он найдет их.

— Тени бывшего, — повторил он, глядя на пляшущие в камине огни. — Вы не ушли. Но и мы не уйдем. Мы найдем вас. И на этот раз — до конца.

Он поднялся, потушил лампу и, опираясь на трость, пошел в свою маленькую спальню, где уже была приготовлена постель. Спать он не хотел — слишком много мыслей роилось в голове, — но знал, что завтрашний день потребует сил. И сил нужно было набраться.

Он лег, закрыл глаза, и в темноте, перед закрытыми веками, поплыли те самые тени — тени прошлого, которые, как он теперь понимал, никогда не уходят. Они просто ждут. Ждут, когда можно будет выйти на свет.

Он уснул, и ему снился Ключарев — молодой, в лицейском мундире, с неизменной улыбкой на тонких губах. Он стоял на набережной Фонтанки, смотрел на воду и улыбался. А когда Гаршин подошел, обернулся и сказал:

— Ты простишь меня, Лёва? Ты простишь меня за то, что я не сказал тебе всё?

— Прощу, — ответил Гаршин во сне. — Прощу. Потому что ты мой друг. Потому что ты жив. Потому что правда — это не то, что можно сказать словами. Правда — это то, что мы делаем.

Он проснулся в шесть утра, когда за окном только начинало сереть. Дождь кончился, небо было чистым, и где-то вдаль, над Невой, занимался бледный, холодный рассвет.

Новый день начинался. И в этом новом дне была надежда. И страх. И правда, которую он должен был найти.

Он встал, умылся ледяной водой, оделся и вышел в контору. На столе, под стопкой других бумаг, лежало письмо Ключарева — конверт из плотной, дорогой бумаги, пахнувший морем и опасностью.

Гаршин взял его, посмотрел на штампель Марселя, потом убрал в карман сюртука — туда же, где лежал золотой жетон императора.

— Сегодня, — сказал он сам себе. — Сегодня мы начнем сначала.

Он подошел к двери, ведущей в комнату Сони, прислушался. Тихо. Девочка спала. Он не стал ее будить — еще успеется.

Вышел на улицу, огляделся. Мокрая мостовая блестела под серым небом, извозчики уже выезжали на линию, торговки открывали лавки. Город просыпался, не зная, что сегодня начнется новая охота — самая опасная в жизни сыщика с Малой Садовой.

Гаршин глубоко вздохнул, оперся на трость и, хромя, пошел в сторону Лиговки. Туда, где в цирке Ленорман его ждали те, кто мог помочь. Туда, где начиналась новая глава его жизни.

Тени бывшего вышли на свет. И он должен был встретить их.

Глава 2.

Воскресенье выдалось на диво ясным — для Петербурга, привыкшего к сырости и туманам, это было настоящим событием. Небо, вымытое ночным дождём, сияло такой прозрачной голубизной, что казалось, будто смотришь не вверх, а вглубь — в бесконечный, хрустальный колодец, на дне которого мерцало бледное, но по-осеннему ласковое солнце. Листья на бульварах уже облетели, но оставшиеся горели золотом и багрянцем, и весь город — этот вечно хмурый, вечно занятый собой исполин — вдруг показался улыбчивым, почти приветливым.

Гаршин стоял у окна конторы, глядя на Малую Садовую, и чувствовал то редкое, почти забытое ощущение, которое называется покоем. Не тем тяжёлым, свинцовым спокойствием, которое приходит после долгой борьбы и граничит с опустошением, а лёгким, почти мальчишеским чувством, что всё хорошо, что всё правильно, что жизнь, несмотря на все её шрамы и ушибы, удалась.

Сегодня он решил устроить праздник. Не по случаю чего-то — просто так, для души. Соня последнее время слишком много занималась, Сомов слишком много работал, Саша слишком много писала, Ленорман слишком много хлопотала по цирку. Все они, его близкие, его соратники, его семья — ибо назвать эту пёструю компанию иначе было нельзя, — нуждались в передышке. И Гаршин, чувствуя себя в эту минуту почти патриархом большого, не всегда послушного, но любящего семейства, решил, что воскресный обед в ресторане — лучшее лекарство от накопившейся усталости.

«Медведь» на Невском проспекте был выбран не случайно. Этот ресторан, славившийся своей основательной, истинно русской кухней, с дубовыми панелями, тяжёлыми люстрами и огромными зеркалами, в которых отражалась вся петербургская знать, был местом, где чувствовали себя одинаково уютно и министры, и купцы, и литераторы, и — если присмотреться — даже сыщики в отставке. Цены здесь были высокими, но Гаршин, получив за последние несколько щекотливых дел хорошие гонорары, мог позволить себе шикнуть раз в году.

— Папа, ты уверен, что нам туда? — спросила Соня, поправляя перед зеркалом воротничок своего нового платья — тёмно-зелёного, с изящной вышивкой, очень шедшего к её серьёзным серым глазам. — Говорят, в «Медведе» бывает сам граф Лорис-Меликов. Не будет ли нам неловко?

— Граф Лорис-Меликов, — усмехнулся Гаршин, — бывает там, где его кормят. А кормят везде хорошо. К тому же, Соня, в воскресенье он, скорее всего, обедает у себя на даче. Так что не бойся. Мы будем среди простых смертных.

— Среди простых смертных, у которых обед стоит как полгода жалованья твоего помощника, — проворчал Сомов, возникая на пороге. Он был в своём единственном сюртуке — старом, но тщательно вычищенном, с аккуратно приколотой медалью «За храбрость». — Лев Ильич, вы разоритесь.

— Не разорюсь, Андрей Петрович, — Гаршин взял трость. — Будьте спокойны. Сегодня я угощаю. И никаких возражений.

В ресторан они вошли ровно в час. Гаршин заказал отдельный кабинет — небольшой, но светлый, с большим окном, выходящим на Невский. Белая скатерть, тяжёлые серебряные приборы, хрустальные бокалы, меню в кожаном переплёте — всё дышало той основательной, неторопливой роскошью, которую так любят в Петербурге.

Соня и Саша устроились рядом, тут же принявшись с увлечением изучать меню и шушукаться, как девчонки, которым впервые разрешили выбирать блюда самостоятельно. Сомов, чувствуя себя в такой обстановке не в своей тарелке, стоял у окна и смотрел на проспект, время от времени поправляя медаль. Ленорман, прибывшая чуть позже, выглядела сегодня особенно эффектно: тёмно-бордовое бархатное платье, бриллиантовая брошь в виде лилии, и

тот самый насмешливый, умный взгляд, который сразу выдавал в ней женщину, знающую о жизни больше, чем положено знать даме её круга.

— Лев Ильич, — сказала она, усаживаясь напротив Гаршина. — Вы сегодня выглядите почти счастливым. Признавайтесь, что случилось?

— Случилось воскресенье, — ответил Гаршин, разливая по бокалам минеральную воду. — Случилось хорошее общество. Случилась возможность пообедать не в конторе, не на ходу, а как подобает христианину. Разве этого мало?

— Мало, — Ленорман покачала головой, но в глазах её плясали смешинки. — Я знаю вас, Лев Ильич. Вы не умеете просто отдыхать. У вас обязательно что-то на уме. Какое-то новое дело, какая-то новая тайна.

— Сегодня, мадемуазель, — Гаршин поднял бокал, — сегодня у меня на уме только борщ, расстегаи и, может быть, порция осетрины под белым соусом. Всё остальное — завтра.

— Договорились, — Ленорман чокнулась с ним.

Обед начался с борща — наваристого, рубинового, с густой сметаной и пышными пампушками, которые так искусно испекли в «Медведе», что даже Сомов, привередливый в еде, крикнул от удовольствия. Потом подали расстегаи с визигой — горячие, рассыпчатые, таявшие во рту. Потом — осетрину, запечённую с грибами в сметанном соусе, от запаха которой у Сони закружилась голова.

За едой говорили о всякой всячине. Соня рассказывала о своих курсах — о скучном римском праве, о занудном профессоре, который читает лекции так, что хочется зевать, о новой подруге, тоже мечтающей стать адвокатом. Саша делилась планами на новую статью — она хотела написать о забытых героинях, о женщинах, которые боролись за правду и были забыты историей. Сомов, который за вторым стаканом чая стал разговорчивее, травил байки о своей службе — о том, как ловил фальшивомонетчиков, как выслеживал воров, как однажды ночью гонялся за грабителем по крышам и чуть не сорвался вниз.

— Несмотря на ваши истории, Андрей Петрович, — сказала Ленорман, — вы, кажется, очень любили свою службу.

— Любил, — согласился Сомов, помешивая чай. — Не службу — работу. Служба, мадемуазель, это когда начальство приказывает. А работа — когда сам знаешь, что надо делать. Я всегда был работягой, а не служакой.

— Поэтому вы и ушли, — сказал Гаршин. — Потому что начальство мешало работать.

— Поэтому, — кивнул Сомов.

Разговор незаметно перетёк в политику — неизбежную тему в Петербурге, где каждый чувствовал себя немного министром, а каждый извозчик имел мнение о том, как управлять империей.

— Я читал сегодняшние газеты, — сказала Саша, отодвигая тарелку. — Опять пишут о покушениях. Опять кого-то повесили. Я не понимаю, Лев Ильич, почему люди, которые хотят лучшего, выбирают такие страшные способы?

— Потому что, Саша, — ответил Гаршин, — люди, которые хотят лучшего, часто считают, что цель оправдывает средства. Это старая, как мир, ошибка. Лучшее не строится на крови. Лучшее строится на правде.

— А вы верите, что правда может победить? — спросила Саша, и в голосе её прозвучала та детская, наивная надежда, которую Гаршин так ценил в ней.

— Верю, — сказал он. — Но не в том смысле, в каком проповедники говорят о победе добра над злом. Правда не побеждает раз и навсегда. Правда — это процесс. Это ежедневная, ежеминутная борьба. Ты можешь проиграть сегодня, но, если ты не сдашься — ты выиграешь завтра.

— Вы говорите как настоящий революционер, Лев Ильич, — усмехнулась Ленорман, но усмешка была доброй, без яда.

— Я говорю как человек, который видел, как ложь правит миром тридцать лет, — ответил Гаршин. — И как правда, которую он нашёл, разрушила эту ложь. Не до конца, я знаю. Не навсегда. Но разрушила. А это уже победа.

— Какая же это победа, — вздохнул Сомов, — если Шувалов-Бельский сидит в Шлиссельбурге, Мещерский гниёт в Тобольске, а кто-то третий, главный, — в Зимнем дворце, наверное, и чай попивает?

В комнате повисла тишина. Гаршин почувствовал, как Соня сжала его руку под столом. Ленорман перестала улыбаться. Саша опустила глаза.

— Андрей Петрович, — сказал Гаршин тихо, — давайте сегодня без этого. Давайте сегодня просто отдохнём.

— Извините, Лев Ильич, — Сомов виновато кашлянул. — Я не со зла. Просто...

— Просто вы правы, — перебил Гаршин. — Но сегодня — не время и не место. Сегодня — воскресенье. Сегодня — обед. Сегодня — мы вместе. Давайте не портить этот день тем, что мы изменить не можем. По крайней мере сегодня.

Он поднял бокал с водой — вина он не пил, берег здоровье.

— За нас, — сказал он. — За то, что мы есть. За то, что мы вместе. За то, что мы живы.

— За нас! — подхватили все, и напряжение ушло.

После обеда, когда подали чай с бергамотом и медовые пряники, Гаршин вдруг предложил:

— А не прогуляться ли нам в Летний сад? Погода чудесная, а после такой еды полезно пройтись.

Предложение было встречено с энтузиазмом. Соня захлопала в ладоши, Саша тут же начала собирать вещи, Ленорман улыбнулась, а Сомов, хотя и проворчал что-то о том, что «погода чудесная — значит, промочит до костей», всё же поднялся и надел пальто.

Они вышли на Невский. Солнце светило во всю силу, и проспект, залитый золотым светом, казался не улицей, а театральной декорацией — слишком красивой, чтобы быть настоящей. Извозчики сновали туда-сюда, дамы в шляпках и офицеры при саблях прогуливались по тротуарам, а где-то вдалеке, со стороны Казанского собора, доносился звон колоколов.

— Папа, — сказала Соня, беря отца под руку, — а можно я тебе одну вещь скажу, и ты не обидишься?

— Говори.

— Ты сегодня другой. Не такой, как всегда. Мягче, что ли.

— Мягче? — Гаршин усмехнулся. — Это плохо?

— Нет. Это хорошо. Ты слишком долго был твёрдым, папа. Слишком долго всё держал в себе. А человеку иногда нужно расслабляться.

— Спасибо за заботу, — сказал Гаршин, прижимая дочь к себе. — Я постараюсь расслабляться чаще. Если ты будешь рядом.

— Я буду рядом всегда, папа. Ты же знаешь.

Они шли по Невскому, и Гаршин чувствовал, как в груди разливается то самое тепло, которое он так долго не позволял себе чувствовать. Рядом с ним были его близкие — не кровные, не родные по рождению, но родные по духу. И в эту минуту, под этим осенним солнцем, среди этого шумного, противоречивого, вечно спешащего куда-то города, он был счастлив. Почти счастлив. Настолько, насколько может быть счастлив человек, который слишком много знает о том, как устроен этот мир.

Но счастье, как известно, не бывает долгим — особенно в Петербурге, особенно в 1876 году, когда над городом сгущаются не только тучи, но и предчувствия.

Они уже подходили к Летнему саду, когда к Гаршину подскочил мальчишка-газетчик.

— Господин Гаршин! Господин Гаршин! Экстренный выпуск! — кричал он, размахивая свежим номером. — Читайте! Sensация!

Гаршин взял газету, взглянул на первую полосу и замер.

Крупный, в пол-листа, заголовок гласил:

«НОВЫЙ ЗАГОВОР? БЫВШИЙ СЫЩИК ГАРШИН МОГ БЫТЬ ЗАМЕШАН»

— Что там? — спросил Сомов, подходя ближе.

Гаршин молча протянул ему газету. Сомов прочитал, побледнел.

— Это ложь, — сказал он. — Чистой воды ложь.

— Я знаю, — ответил Гаршин, и голос его был спокойным — тем особым, ледяным спокойствием, которое появлялось у него в минуты опасности. — Я знаю. Но кто-то очень хочет, чтобы в это поверили. Кто-то, кто знает, что мы копаем. Кто-то, кто хочет нас остановить.

— Папа, — Соня взяла его за руку, и в её голосе дрожали слёзы. — Что теперь будет?

Гаршин посмотрел на дочь. Потом на Сашу, на Ленорман, на Сомова. На лицах их был страх — тот самый, который он видел год назад, когда всё только начиналось.

— Теперь, — сказал он, пряча газету в карман, — теперь мы будем жить дальше. Будем работать. Будем искать правду. И не позволим ни одной газетёнке, ни одному лжецу, ни одному заговорщику испортить нам жизнь.

Он повернулся и, опираясь на трость, пошёл к Летнему саду. Остальные последовали за ним.

Идиллия кончилась. Начиналась буря.

Глава 3.

Летний сад в этот воскресный день был прекрасен, как старая, тронутая благородной патиной картина. Золото и багрянец листвы, ещё не полностью сброшенной, горели в лучах низкого осеннего солнца, придавая всему окружающему налёт торжественной, чуть печальной красоты. Аллеи, усыпанные пожухлыми листьями, шуршали под ногами, и этот звук — мирный, домашний — почему-то особенно остро давал почувствовать хрупкость того покоя, который Гаршин и его спутники обрели за обедом.

Мраморные статуи, давние обитатели сада, возвышались на своих пьедесталах, равнодушно взирая на редких прохожих. Амуры, нимфы, античные герои — все они застыли в вечном танце, не подозревая, что где-то там, за чугунной оградой, бурлит, клокочет, задыхается от интриг и заговоров настоящая жизнь. Гаршин любил этот сад именно за его неподвижность, за то, что здесь, среди вековых дубов и мраморных изваяний, можно было хотя бы на минуту забыть о том, что ты — сыщик, что за твоей спиной — год борьбы, а впереди — неизвестность.

— Папа, смотри, — Соня указала на статую, изображавшую девушку с кувшином. — Как будто она сейчас оживёт и уйдёт.

— Не оживёт, — усмехнулся Сомов, шагавший сзади. — Мрамор, он мёртвый. Красивый, но мёртвый.

— А мне, кажется, — возразила Саша, — что в каждой статуе есть душа. Просто она спит. И когда никто не смотрит, она просыпается и гуляет по саду.

— Вы, барышня, — Сомов покачал головой, — слишком много читаете романов. Жизнь, она проще. И грубее.

— Как вы, Андрей Петрович, — парировала Саша, и все засмеялись.

Ленорман, которая сегодня была особенно молчалива, шла чуть поодаль, задумчиво глядя на аллею, уходящую вглубь сада. Гаршин заметил её напряжённую спину, слишком прямую даже для этой женщины, привыкшей держать себя в руках, и нахмурился.

— Мадемуазель, — обратился он к ней, поравнявшись. — Вас что-то беспокоит?

— Беспокоит? — Ленорман бросила на него быстрый взгляд. — Нет, Лев Ильич. Просто... не нравится мне этот сад сегодня. Слишком тихо. Слишком много теней.

— Теней? — Гаршин огляделся. Действительно, тени от деревьев ложились на аллеи длинными, косыми полосами, и в их сгущениях можно было разглядеть всё что угодно — и фигуры людей, и неясные силуэты, и даже, как показалось ему на миг, чьи-то подстерегающие взгляды.

— Вам кажется, — сказал он, хотя сам уже не был в этом уверен. — Воскресенье. Люди гуляют.

— Люди, — Ленорман кивнула в сторону скамейки, где сидела пожилая пара с внуком. — Да. А вон там, за кустами, — она указала взглядом влево, — не люди. Или люди, но не гуляющие.

Гаршин проследил за её взглядом. В той стороне, где начиналась боскетная аллея, скрытая густыми ещё не до конца облетевшими кустами сирени, действительно мелькнула какая-то тень. Одна, потом вторая. Он прищурился, но тени исчезли, словно их и не было.

— Сомов, — сказал он тихо, не оборачиваясь. — У нас хвост.

— Вижу, — так же тихо ответил Сомов, и в голосе его появилась та самая спокойная, деловитая нотка, которую Гаршин знал по прошлым делам. — Человека три-четыре. Держатся на расстоянии, не приближаются.

— Соня, Саша, — Гаршин остановился, делая вид, что завязывает шнурок на ботинке, — идите вперёд, не оборачивайтесь. Мы с Сомовым и мадемуазель Ленорман вас догоним.

— Папа, что случилось? — Соня, вся подавшись вперёд, попыталась заглянуть ему в лицо.

— Ничего, — ответил он, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. — Просто проверим кое-что. Идите.

Девушки обменялись взглядами, но послушались. Они пошли дальше по аллее, взявшись за руки, и их светлые платья, мелькавшие среди пожухлой листвы, казались двумя выпавшими из осенней палитры цветами.

Гаршин выпрямился, опираясь на трость.

— Что думаете, Андрей Петрович?

— Думаю, Лев Ильич, — Сомов незаметно передёрнул плечами, проверяя, легко ли вынимается револьвер из кобуры, — что это те самые, о которых мадемуазель говорила. Из газеты.

— Те самые, кто хочет нас запугать, — Гаршин кивнул. — Или что-то узнать.

— Или и то, и другое, — встала Ленорман, и в голосе её прозвенел металл. — Я с ними разберусь.

— Нет, — Гаршин остановил её жестом. — Сначала посмотрим, что им нужно. Не будем нападать первыми.

— А если они нападут?

— Тогда, — Гаршин усмехнулся, и усмешка эта была страшнее любого крика, — тогда вы им покажете, мадемуазель, что такое настоящий цирк.

Они прошли ещё шагов пятьдесят по аллее, когда впереди, за поворотом, послышался шум — быстрые шаги, приглушённые голоса, металлический лязг. Гаршин успел заметить, как Соня и Саша, уже было скрывшиеся из виду, внезапно остановились, а потом побежали назад, навстречу ему.

— Папа! — кричала Соня, размахивая руками. — Там люди! С палками! Бежим!

Гаршин не побежал — он, хромя, двинулся вперёд, заслоня собой дочь. Сомов выхватил револьвер. Ленорман, вытащив из рукава тонкий стилет — дамское оружие, которое она всегда носила с собой, — встала рядом.

Из-за поворота выскочили четверо. Все в тёмных сюртуках, с лицами, скрытыми под надвинутыми шляпами. В руках у них были дубинки — не изящные трости, а настоящие, окованные железом кистени, которыми обычно орудовали вышибалы в портовых кабаках.

— Господин Гаршин? — спросил один из них, самый высокий, делая шаг вперёд. — Тот самый?

— Допустим, — спокойно ответил Гаршин, не выпуская трости. — А вы кто такие и что вам нужно?

— Нам нужно, — высокий усмехнулся, и в усмешке этой было что-то до омерзения знакомое, — чтобы вы забыли о некоторых вещах. О некоторых делах. О некоторых людях. И перестали совать свой длинный нос туда, куда не следует.

— А если я откажусь?

— Тогда, — высокий поднял кистень, — мы вам поможем забыть. Навсегда.

Он шагнул вперёд, и в этот момент Сомов выстрелил в воздух. Грохот револьвера, усиленный тишиной сада, прокатился по аллее, и на секунду все замерли — и нападавшие, и их жертвы.

— Следующий выстрел, — сказал Сомов, целясь в грудь высокому, — будет в вас. И не промахнётся.

Но высокий, кажется, не испугался. Он махнул рукой, и трое его товарищей бросились вперёд — двое на Сомова, один на Ленорман. Гаршин остался стоять, заслоня Соню и Сашу, и в его руке трость превратилась в клинок — тонкий, острый, смертоносный.

Он не успел им воспользоваться.

Из-за деревьев, с той стороны, откуда никто не ждал помощи, вылетела стремительная фигура в пёстром трико. Федька-Стрекоза — акробат, гимнаст, лучший ученик Ленорман, — возник словно из воздуха, перекувыркнулся через голову одного из нападавших и, приземлившись у него за спиной, нанёс точный удар в основание черепа. Тот рухнул, как подкошенный.

— А вот и я! — крикнул Федька, сверкнув белозубой улыбкой. — Мадемуазель сказала, что я могу пригодиться. И не ошиблась!

Второй нападавший, тот, что пытался достать Сомова, получил дубинкой по руке — не от Сомова, а от самого себя. Андрей Петрович, уйдя в сторону, дёрнул налётчика за руку, и тот, потеряв равновесие, налетел на собственную дубину, с размаху ударившись о ствол дерева.

Ленорман справилась со своим противником ещё быстрее. Её стилет, сверкнув в воздухе, полоснул по пальцам налётчика, разжав их, и дубина, описав дугу, улетела в кусты. Сам же горе-нападавший, получив коленом в пах, согнулся пополам и замер, хватая ртом воздух.

Остался только высокий. Он стоял, глядя на своих поверженных товарищей, и лицо его под надвинутой шляпой исказилось от злобы и страха.

— Вы ещё пожалеете, — сказал он, пятясь назад. — Вы все пожалеете.

— Стоять! — крикнул Сомов, взводя курок. — Ни с места!

Но высокий не послушался. Он развернулся и бросился бежать, но Гаршин, опережая его, метнул трость — не клинок, а саму трость, тяжелую, с волчьим набалдашником. Она ударила налётчика под колени, тот споткнулся и рухнул лицом в листву.

Федька подскочил к нему мгновенно, прижал коленом к земле.

— Лежать, — сказал он весело. — И не дёргаться. А то я щекотки боюсь.

Гаршин подошёл к пленнику, опираясь на поданную Сомовым трость. Нога после резкого движения заныла, но он не обращал внимания.

— Кто послал? — спросил он, глядя на налётчика сверху вниз.

— Не скажу, — прохрипел тот, сплёвывая кровь на листья. — Не дождётесь.

— Скажешь, — спокойно сказал Гаршин. — Может быть, не сейчас. Но скажешь. В участке, например. Или у меня в конторе. Я умею уговаривать.

Налётчик засмеялся — зло, срывающимся голосом.

— Участок, — повторил он. — Вы думаете, в участке меня будут слушать? Меня? Я там такой же гость, как и вы. Или даже более желанный.

Сомов нахмурился.

— Кто ты, парень? — спросил он, наклоняясь ближе. — Лицо знакомое.

— Не узнаете, Андрей Петрович? — налётчик поднял голову, и шляпа съехала набок, открывая лицо — молодое, наглое, с живыми, умными глазами. — А мы с вами год назад на Лиговке встречались. Я тогда от вас удрал. А сейчас — вот, попался.

Сомов присмотрелся, и лицо его вытянулось.

— Петька Косой? — спросил он неверяще. — Ты? Как же тебя из острога выпустили?

— А так, — Петька усмехнулся. — Замолвили словечко. Люди, которые сильно выше вас, Андрей Петрович. Люди, которым вы не чета.

Гаршин слушал этот разговор, и в голове его складывалась картина. Петька Косой — тот самый налётчик, которого они поймали год назад, когда шпана пыталась обокрасть их после крепости. Тот самый, кто дал показания против Шувалова-Бельского. Значит, кто-то вытащил его из тюрьмы. Кто-то, у кого достаточно связей, чтобы замять дело, освободить преступника и использовать его в своих целях.

— Кто тебя нанял, Петька? — спросил Гаршин, и голос его стал тихим, почти ласковым. — Кто?

Петька молчал, глядя в землю. Потом поднял глаза — живые, дерзкие, но в глубине их уже поселился страх.

— Скажу, — сказал он неожиданно. — Только вы меня потом отпустите. И не в участок. Я больше в участки не хочу.

— Говори.

— Человек, который меня нанял, — Петька оглянулся на своих подельников, которые лежали без сознания, потом на Сою и Сашу, стоявших поодаль, — он сказал, чтобы я вам кое-что передал. Если получится подойти.

Гаршин нахмурился.

— Передал что?

— Слова, — Петька понизил голос до шёпота. — Он сказал: «Дело № 47 не закрыто. Шувалов-Бельский был не главным». И ещё: «Пусть Гаршин ищет не там, где светло, а там, где темно. Там, где тени. И пусть бережётся».

Вокруг повисла тишина — такая плотная, что слышно было, как шуршат листья, падая с деревьев. Гаршин стоял, не двигаясь, и чувствовал, как внутри, где-то в самом сердце, разрастается тот самый холод, который он испытывал год назад, когда понял, что Ключарев мёртв. Теперь Ключарев был жив, но враг, который тогда казался побеждённым, оказался сильнее и хитрее.

— Кто этот человек? — спросил он, хотя уже знал, что Петька не скажет.

— Не знаю, — Петька покачал головой. — Честно, Лев Ильич. Я его никогда не видел. С нами говорил его человек — чисто одетый, с бородой. Деньги дал, велел передать слова и... и побить вас немного. Для острастки. Чтобы вы забыли дорогу в Зимний дворец.

— Забыл, — горько усмехнулся Гаршин. — Я ещё год назад забыл. Но враги мои не забыли.

Он поднял голову, посмотрел на небо, где облака снова начали сгущаться, затягивая голубизну серой пеленой.

— Сомов, — сказал он. — Забирайте этих. В участок. Пусть Ефремов их допросит. Но Петьку — отдельно. И без жестокости. Он нам ещё может пригодиться.

— Понял, — Сомов кивнул, начал связывать налётчиков сыромятным ремнём.

Ленорман подошла к Гаршину, взяла его под руку.

— Лев Ильич, — сказала она тихо. — То, что он сказал... вы верите?

— Верю, — Гаршин кивнул. — Потому что это совпадает с письмом Ключарева. Кто-то очень влиятельный действительно выжил. Кто-то, кого не тронуло следствие. И этот кто-то теперь хочет, чтобы я прекратил поиски. Или, может быть, наоборот — чтобы я их начал. Не пойму пока.

— Вы думаете, это ловушка?

— Думаю, это игра, — Гаршин посмотрел на аллею, где уже собралась небольшая толпа зевак — гуляющие, испуганные выстрелами, теперь с любопытством рассматривали связанных налётчиков. — Игра, в которой мы — пешки. Но кто-то из нас станет ферзём.

Когда налётчиков увели, а Сомов уехал с ними в участок, Гаршин, Соня, Саша, Ленорман и Федька остались в саду одни. Толпа поредела, солнце скрылось за тучи, и аллеи, ещё недавно казавшиеся такими уютными, теперь выглядели мрачными, враждебными.

— Папа, — Соня подошла к отцу, взяла его за руку. — Это из-за нас? Из-за того, что мы вчера прочитали?

— Из-за того, что мы вчера прочитали, — подтвердил Гаршин. — И из-за того, что мы знаем. И из-за того, что мы не боимся.

— А мы боимся? — спросила Саша, и в голосе её прозвучала та детская, наивная храбрость, которая так тронула Гаршина.

— Боимся, — честно ответил он. — Кто не боится, тот глуп. Но страх — не повод отступать. Страх — повод быть осторожнее.

— И что теперь? — спросила Ленорман.

Гаршин помолчал. Потом сказал:

— Теперь мы будем искать. Того, кто стоит за Шуваловым. Того, кто вытащил Петьку из тюрьмы. Того, кто оплачивает статьи в европейских газетах. Того, кто тридцать лет назад был главным и остался в тени.

— А если этот человек — во дворце? — тихо спросила Саша.

Гаршин посмотрел на неё долгим, тяжёлым взглядом.

— Если во дворце, — сказал он, — значит, во дворце. Будем искать там.

— Это опасно, — заметила Ленорман.

— Это правда, — ответил Гаршин. — А правда всегда опасна. Мы это знаем.

Он взял Соню за руку, и они пошли по аллее к выходу. Золотая листва падала им под ноги, шуршала, как старые письма, которые уносит ветер. Впереди, за оградой Летнего сада, ждал Петербург — большой, холодный, равнодушный. И в этом Петербурге ждал враг, которого они должны были найти.

— Папа, — сказала Соня, когда они уже выходили из сада. — А ты не думал, что этот человек — кто-то из наших? Кто-то, кого мы знаем?

Гаршин остановился. Посмотрел на дочь — на её серьёзные, повзрослевшие глаза.

— Думал, Соня. Думал. И теперь буду думать ещё больше.

Он повернулся и, опираясь на трость, пошёл в сторону Малой Садовой, где в конторе его ждали старые бумаги, старые письма и, возможно, старая правда, которую он так долго искал.

Враг был рядом. Он чувствовал это каждой клеткой своего израненного тела. И он знал: этот враг не отступит. Но и он, Гаршин, не отступит. Потому что правда — это не то, что можно найти и успокоиться. Правда — это то, за что нужно бороться каждый день.

А он умел бороться. Он научился этому за долгую, трудную жизнь.

И он не собирался сдаваться.

Глава 4.

Утро понедельника началось для Гаршина не с кофе, не с привычного обхода утренней почты и не с неторопливого разговора с Сомовым о планах на предстоящую неделю. Оно началось с тяжелого, настойчивого стука в дверь, от которого задрезжали стекла в старых рамах, а каминная заслонка жалобно звякнула.

Гаршин, еще не проснувшийся толком, накинул сюртук и, хромая, побрел к выходу. Соня, спавшая в соседней комнате, уже выглянула в коридор, протирая заспанные глаза.

— Папа, кто это в такую рань?

— Сейчас узнаем.

Он отодвинул тяжелый засов — тот самый, который поставил год назад после событий на Крестовском, когда понял, что старые враги не дремлют, — и открыл дверь. На пороге стоял раскрасневшийся, запыхавшийся Ефремов — тот самый городской с Лиговки, который помогал им в прошлом деле. Мундир его был расстегнут, фуражка съехала набок, а в руках он держал свежий номер «Петербургского листка», еще пахнувший типографской краской.

— Лев Ильич, — выдохнул он, не успев даже поздороваться, — беда. Вы читали?

— Не читал, — Гаршин взял газету, взглянул на первую полосу и почувствовал, как кровь отливает от лица.

Крупный, в пол-листа, заголовок, набранный жирным шрифтом, кричал:

«ПРАВДА О СЫЩИКЕ ГАРШИНЕ: КАК ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЛ ИМПЕРАТОР, ПРЕДАЛ ДОВЕРИЕ.»

Ниже, более мелким шрифтом, но всё еще вызывающе:

«Наш корреспондент располагает неопровержимыми доказательствами того, что год назад сыщик Гаршин не раскрыл заговор, а, напротив, помог его участникам скрыться от правосудия. Ключарев, якобы убитый, жив и находится за границей на средства, полученные от Гаршина. Циркачка Ленорман, известная своими связями с европейскими революционерами, продолжает свою деятельность под покровительством бывшего титулярного советника. Кто следующий?»

Гаршин перечитал заголовок дважды, потом перевел взгляд на статью, занимавшую почти всю первую полосу. Имя его повторялось в каждом абзаце — обвинения, намеки, полуправда и откровенная ложь, перемешанные в такой пропорции, что неискушенному читателю было невозможно отличить одно от другого.

— Кто это написал? — спросил он, и голос его прозвучал спокойно — тем особым, ледяным спокойствием, которое появлялось у него в минуты самой страшной опасности.

— Не знаю, — Ефремов переступил с ноги на ногу. — В редакции говорят, что статья анонимная, но материал прислал кто-то из высоких. Очень высоких. Выше, чем можно предположить.

— Выше, чем я могу предположить? — Гаршин усмехнулся, но усмешка вышла горькой. — Что ж, значит, наш враг не только богат, но и знатен.

Соня, подбежавшая к отцу, взяла газету из его рук, пробежала глазами по строчкам и побледнела.

— Это ложь, — сказала она, и голос ее дрожал. — Папа, это же ложь! Ты не предавал императора. Ты спас его! Ты спас правду!

— Знаю, — Гаршин погладил ее по голове. — Знаю, Соня. Но тот, кто это написал, хочет, чтобы в эту ложь поверили. И многие поверят. Потому что люди всегда охотнее верят в плохое, чем в хорошее. Плохое проще, оно не требует от них усилий.

Из соседней комнаты, разбуженная шумом, вышла Саша — она осталась ночевать у Гаршиных после вчерашнего происшествия в Летнем саду. Увидев бледное лицо Сони, встревоженного Ефремова и мрачную фигуру Гаршина у двери, она всё поняла без слов.

— Статья? — спросила она тихо.

— Статья, — ответил Гаршин. — И очень хорошая. Для тех, кто хочет меня уничтожить.

— Что теперь будет?

— Теперь, — Гаршин подошел к окну, отодвинул занавеску, — теперь начнется то, что в старину называли «травлей». Придут зеваки, будут смотреть на контору, как на зверинец. Придут журналисты, будут задавать дурацкие вопросы. Придет полиция — или не придет, в зависимости от того, кому я сейчас нужен. И все они будут обсуждать меня, мою семью, моих друзей. И никого не будет волновать правда.

Он повернулся к Ефремову.

— Вы, Ефремов, скажите своим на Лиговке: пусть не вмешиваются. Это не их война. И пусть берегут Петьку Косого — он теперь главный свидетель. Если с ним что-то случится, мы потеряем нить.

— Понял, — Ефремов козырнул и вышел, торопливо застегивая мундир на ходу.

Первые любопытные появились у конторы уже через час. Сначала это были просто прохожие, замедлявшие шаг, чтобы заглянуть в окна, потом — мальчишки, прилипшие носами к стеклу, потом — солидные господа в сюртуках и цилиндрах, которые не стесняясь гладели на дверь, под которой висела табличка «Сыскная контора Л.И. Гаршина».

Гаршин сидел у камина, делая вид, что читает старые дела. Но Соня видела, как его пальцы сжимают перо так, что оно вот-вот сломается. Она села рядом, взяла его за руку.

— Папа, может, нам уехать? На время? Пока всё не утихнет?

— Куда? — усмехнулся он. — В Саратов? К тетке? Там уже, наверное, тоже читают эту газету. От нее не спрячешься, Соня. От таких вещей не прячутся. Их переживают.

— И как ты собираешься это переживать?

— Работать, — сказал он. — Работать, искать, копать. Пока я работаю, я жив. Пока я живу, у меня есть шанс доказать, что я не предатель.

В дверь постучали — на этот раз вежливо, двумя пальцами. Гаршин кивнул Соне, и та открыла.

На пороге стоял невысокий господин в дорогом сюртуке, с аккуратной бородкой, в пенсне. В руках он держал блокнот и карандаш — профессиональные принадлежности, которые Гаршин узнал бы из тысячи.

— Лев Ильич Гаршин? — спросил господин, переступая порог без приглашения. — Позвольте представиться: Николай Васильевич Зайцев, корреспондент «Нового времени». У нас есть к вам несколько вопросов.

— А у меня к вам, господин Зайцев, нет никаких вопросов, — холодно ответил Гаршин, не поднимаясь с кресла. — И я не приглашал вас в свой дом.

— Это не дом, это контора, — улыбнулся Зайцев, делая шаг вперед. — Контора — место публичное. И я имею право...

— Вы не имеете права, — перебил Гаршин, и в голосе его зазвучал металл, — входить в частное помещение без разрешения хозяина. Поэтому или вы выходите сами, или я вызываю полицию и вас выводят. Выбирайте.

Зайцев помялся, но в блокнот всё же заглянул.

— Всего один вопрос, Лев Ильич. Правда ли, что статский советник Ключарев, которого год назад считали погибшим, жив и находится в эмиграции, получая от вас денежное содержание?

— Это не один вопрос, — сказал Гаршин. — Это несколько, да еще и с ложными утверждениями. Я не буду отвечать. До свидания.

— Но вы должны понимать, — Зайцев не сдавался, — что если вы не ответите мне, то завтра в газете появится статья с заголовком «Гаршин отказывается от комментариев, подтверждая тем самым свою вину».

Гаршин медленно поднялся, опираясь на трость. Сделал шаг к Зайцеву. Тот, несмотря на всю свою браваду, попятился.

— Господин Зайцев, — сказал Гаршин, глядя на него в упор, — вы можете писать всё, что угодно. Можете обвинять меня в чем угодно. Можете называть меня предателем, вором, агентом иностранных держав. Мне всё равно. Потому что я знаю правду. И те, кто меня знает, тоже знают правду. А мнение толпы, читающей ваши газеты, меня не волнует.

Он подошел к двери и распахнул ее.

— А теперь — вон.

Зайцев, бледный от такой встречи, вышел, бормоча себе под нос что-то невнятное. Гаршин закрыл за ним дверь и повернулся к Соне.

— Первый, — сказал он. — Будут и другие.

Другие действительно пришли. Приходили журналисты из «Биржевых ведомостей», из «Голоса», даже из «Московских ведомостей», хотя те обычно не интересовались столичными скандалами. Приходили зеваки, которые глазели на вывеску, на окна, на дверь, на самого Гаршина, если ему случалось выйти на улицу. Приходили анонимные доброжелатели, подсовывавшие под дверь записки с угрозами или, наоборот, с предложениями помощи, от которых веяло такой же ложью, как и от газетных статей.

К полудню у конторы собралась толпа — человек тридцать, не меньше. Кто-то кричал: «Предатель!», кто-то: «Позор!», кто-то: «А где же ваш императорский жетон? Продали, небось, за границу?» Гаршин не выходил. Он сидел у камина, перебирая старые бумаги, и делал вид, что не слышит.

Соня стояла у окна, жвав кулаки. Саша плакала в углу. Сомов, пришедший через час после Ефремова, молча сидел на стуле у входа, положив револьвер на колени — на всякий случай.

— Лев Ильич, — сказал он наконец, когда крики снаружи стали особенно громкими, — может, мне выйти да разогнать эту публику? Я быстренько.

— Не надо, Андрей Петрович, — ответил Гаршин, не поднимая головы. — Они ждут, чтобы мы что-то сделали. Чтобы мы вышли, начали кричать, драться, доказывать. Тогда они получают новую пищу для статей. А мы должны быть умнее. Мы должны молчать.

— Молчать, когда нас обливают грязью?

— Именно, — Гаршин отложил бумаги, посмотрел на Сомова. — Потому что правда не в крике. Правда в фактах. А факты мы соберем. И тогда все эти крикуны замолчат. Сами.

— Вы так уверены?

— Я так хочу верить, Андрей Петрович. Без веры нам не выжить.

В час дня в контору пришел неожиданный гость. Дверь открылась без стука, и на пороге появилась Ленорман — не в цирковом костюме, не в платье, а в мужском сюртуке, в высокой шляпе, с тростью. Она была бледна, но спокойна.

— Вы читали? — спросил Гаршин, предлагая ей сесть.

— Читала, — она опустила в кресло, сняла шляпу, откинула волосы со лба. — Вся Европа читает, Лев Ильич. Мои друзья в Париже, в Лондоне, в Берлине уже прислали телеграммы. Спрашивают, что случилось.

— И что вы им ответили?

— Правду, — Ленорман вздохнула. — Сказала, что это ложь. Что вы не предатель. Что вы спасли больше жизней, чем любой из этих писателей. Что если бы не вы, Шувалов-Бельский до сих пор бы правил, а правда лежала бы в земле.

Она помолчала, потом добавила:

— Но в Берлине мне не поверили. В Лондоне — усомнились. В Париже... в Париже меня назвали «русской авантюристкой». И это те, кто меня знает. А что говорить о тех, кто не знает?

Гаршин молчал. Он понимал, что Ленорман пришла не жаловаться, а предупредить. Их враг был сильнее, чем они думали. Он имел влияние не только в России, но и за границей. Он мог затыкать рты газетам, оплачивать клевету, манипулировать общественным мнением. И он делал это искусно, профессионально, не оставляя следов.

— Мадемуазель, — сказал Гаршин, — мне кажется, нам нужно временно прекратить общение.

Ленорман подняла бровь.

— В каком смысле?

— В прямом. Газеты пишут, что вы — моя сообщница. Если мы будем продолжать встречаться, это даст им новую пищу. А нам это не нужно.

— Вы предлагаете мне исчезнуть? — в голосе Ленорман зазвучал металл.

— Я предлагаю вам быть осторожнее. Исчезнуть на время. Раствориться в своем цирке. Не давать поводов.

— А вы? Вы тоже исчезнете?

— Нет, — Гаршин покачал головой. — Я останусь. Буду работать. Буду искать. Буду ждать.

— Чего?

— Того, что наш враг ошибется. А он обязательно ошибется. Такие, как он, всегда ошибаются. Потому что они уверены в своей безнаказанности.

Ленорман посмотрела на него долгим, тяжелым взглядом. Потом кивнула.

— Хорошо, Лев Ильич. Я сделаю, как вы просите. Но помните: я всегда рядом. Если понадобится помощь — дайте знать. Мои люди не бросят вас.

Она поднялась, надела шляпу и, не прощаясь, вышла. Гаршин смотрел ей вслед, и в душе его было пусто и холодно.

Вечером, когда толпа у конторы наконец разошлась, а Соня и Саша ушли спать, Гаршин остался один. Он сидел у камина, глядя на огонь, и думал о том, что сегодняшней день был всего лишь началом. Настоящие испытания впереди. Газетная шумиха — это цветочки. Ягодки начнутся, когда власть, та самая, что приходит на смену умирающему императору, решит, что с ним, Гаршиным, пора кончать.

Александр II, тот самый, кто вручил ему золотой жетон, кто сказал: «Правда будет жить», — умирал. Об этом говорили все газеты, все врачи, все сплетники в Петербурге. Он умирал, и власть уходила из его ослабевших рук в руки тех, кто ждал этого момента тридцать лет. Консерваторов. Тех, кто ненавидел реформы, кто мечтал вернуть старые порядки, кто считал, что империя держится на страхе, а не на правде.

И Гаршин, который был символом этой правды, становился им опасен. Не как человек — как образ. Как живое напоминание о том, что ложь можно победить. И они хотели уничтожить этот образ. Любой ценой.

— Что ж, — сказал он вслух, обращаясь к теням, танцующим на стенах, — уничтожайте. Но я не сдамся. Я буду бороться. Пока жив. Пока ноги носят. Пока есть силы.

Он поднялся, подошел к столу, достал из ящика золотой жетон — подарок императора, который теперь не защищал его, а, наоборот, делал мишенью. Подержал его в руке, потом спрятал обратно.

— Простите, ваше величество, — сказал он тихо. — Я не оправдал вашего доверия. Но я постараюсь оправдать его перед историей. Хотя бы попытаюсь.

Он потушил лампу и пошел в спальню, где его ждала бессонница и тяжелые мысли. Завтра будет новый день. И в этом новом дне будет борьба.

А он умел бороться.

Он научился этому за долгую, трудную жизнь.

Глава 5.

Тот день выдался на редкость хмурым даже для Петербурга. Небо обложило серыми, тяжелыми тучами, из которых с утра сыпалась мелкая, противная морось, проникавшая за воротник, в сапоги, в самую душу. Уличные фонари горели с полудня, но их желтый, больной свет казался не помощником, а насмешкой над осенним мраком, который, казалось, не собирался рассеиваться до самой весны.

Гаршин сидел в конторе один — Соня ушла на свои курсы (она решила не пропускать занятия, несмотря на газетную травлю), Сомов отправился на Лиговку проверять, как там живет Петьке Косому под надзором Ефремова, а Ленорман, выполняя просьбу Гаршина, временно исчезла из виду. В конторе было тихо, только часы на каминной полке мерно отсчитывали секунды, да где-то за стеной возились мыши — вечные, неистребимые обитатели старых петербургских домов.

Гаршин перебирал бумаги. Не те, старые, которые он уже знал наизусть, а новые, присланные ему анонимными доброжелателями после газетной шумихи. Большинство из них были бесполезны — доносы на соседей, жалобы на неверных жен, просьбы о помощи в делах, которые он не брал потому, что они были слишком мелки или, наоборот, слишком грязны. Но были и такие, которые заставляли задуматься.

Пакет принесли в середине дня. Не почтальон — почтальоны в такую погоду предпочитали не ходить по Малой Садовой, — а какой-то мальчишка в рваной куртке, с лицом, испещренным веснушками. Он сунул пакет в дверную щель и убежал, не дожидаясь ответа. Гаршин услышал шорох, подошел к двери и увидел на полу плотный, запечатанный сургучом конверт — без обратного адреса, без имени отправителя, только его, Гаршина, имя, выведенное каллиграфическим, незнакомым почерком.

Он поднял конверт, взвесил на руке. Тяжелый. Не один лист, несколько. Печать — простая, без вензелей, купленная в любой лавке. Но сургуч был хороший, дорогой — красный, с блестками. Такими пользовались в богатых домах, где экономили на всем, кроме мелочей.

— Что ж, — сказал Гаршин вслух, — посмотрим, что нам прислали.

Он вскрыл конверт ножом для бумаги — тем самым, подарком Сони, — и вытряхнул содержимое на стол. Из конверта выпало несколько пожелтевших, истлевших по краям листов и одна сложенная вчетверо записка на хорошей, плотной бумаге.

Первыми он взял старые листы.

Это были расписки и векселя. Старые — очень старые, на вид тридцатилетней давности. Бумага пожелтела, чернила выцвели, кое-где текст было трудно разобрать из-за времени и небрежного хранения. Но Гаршин, привыкший читать старые документы, быстро восстановил смысл.

Первый лист: долговая расписка на пять тысяч рублей ассигнациями, датированная 1844 годом, выданная неким купцом первой гильдии Силиным князю Петру Петровичу Мещерскому — тому самому, что сейчас отбывал ссылку в Тобольске.

Второй лист: вексель на десять тысяч рублей серебром, выданный графом Павлом Павловичем Шуваловым-Бельским (отцом Алексея Павловича, сидевшего в Шлиссельбурге) некоему «П.С.», о чьей личности можно было только догадываться.

Третий лист: расписка о получении двадцати тысяч рублей от лица, чье имя было выскоблено ножом, с подписью — неразборчивой, торопливой, почти судорожной.

Гаршин перечитывал их, и в голове его складывалась картина. Деньги. Большие деньги. Деньги, которые переходили из рук в руки в 1844–1845 годах, накануне дела № 47. Деньги, которые могли быть платой за предательство, за молчание, за спасение жизни. Или, наоборот, — за организацию заговора.

Но что его поразило больше всего, так это подпись на третьем листе. Не та, что была выскоблена, а та, что стояла под текстом — размашистая, с характерным росчерком, который он узнал бы из тысячи. Он видел эту подпись год назад, когда разбирал бумаги Ключарева. Видел ее в делах III Отделения. Видел ее на доносах, на приказах, на секретных документах, которые Хромов передал ему перед тем, как отправиться на покой.

Это была подпись человека, которого в 1845 году считали погибшим. Расстрелянным. Зарытым в безымянной могиле на окраине Петербурга. Подпись полковника Григория Андреевича Бережного — того самого, о котором Ключарев писал в своем письме из Марселя. Того, кто, по слухам, выжил и теперь скрывался за границей под чужим именем.

Но эта расписка была датирована 1845 годом. До арестов. До расстрела. Значит, в 45-м году Бережной был жив и получал деньги. Большие деньги — двадцать тысяч рублей серебром, сумма по тем временам огромная, сопоставимая с годовым бюджетом небольшого министерства.

От кого он их получил? И за что?

Гаршин перевернул расписку. На обратной стороне, мелкими, почти невидимыми буквами, было приписано: «В счет общих дел. Плательщик известен. В случае моей смерти — предъявителю».

«В случае моей смерти» — эти слова леденили душу. Бережной знал, что его могут убить. Знал и готовился. Передавал право требования по расписке кому-то другому — «предъявителю». То есть тому, кто придет с этим документом.

Кто же этот предъявитель? Кто прислал пакет? Тот, кто хочет, чтобы Гаршин знал о Бережном? Или тот, кто хочет использовать Гаршина в своих целях?

Сложенная записка оказалась ключом. Гаршин развернул ее, прочитал и почувствовал, как по спине бегут мурашки.

«Льву Ильичу Гаршину.

Вы ищете правду. Вот она — на этих листах. Человек, который получил эти деньги, жив. Он живет в Швейцарии, в окрестностях Женевы, под именем Петрова. Он знает, кто был главным в 1845 году. Он знает, кто отдавал приказы. Он знает, кто до сих пор дергает за ниточки.

Но он не скажет вам ничего просто так. Он хочет сделку. Он хочет, чтобы вы гарантировали ему безопасность и возвращение в Россию без наказания. В обмен на полные показания.

Если вы согласны — приезжайте в Женеву. В отеле „Берн“ вас будут ждать. Скажете портье: „Я ищу господина Петрова“. Вас проводят.

Не берите с собой полицию. Не берите свидетелей. Приезжайте один. Иначе он не выйдет. Человек, который хочет вам помочь».

Гаршин перечитал записку дважды. Потом положил на стол и закрыл глаза.

Женева. Швейцария. Бережной под именем Петрова. Сделка. Свидетельские показания в обмен на безопасность. Всё это пахло ловушкой — слишком хорошо, чтобы быть правдой, и слишком гладко, чтобы быть искренним.

Кто этот «человек, который хочет помочь»? Тот же, кто прислал расписки? Или кто-то другой? Почему он не назвал своего имени? Почему требует, чтобы Гаршин приехал один? И главное — почему он уверен, что Гаршин поедет?

Но Гаршин знал ответ на последний вопрос. Потому что он, Гаршин, — искатель правды. Потому что он не может пройти мимо человека, который знает то, что он ищет. Потому что это — единственная нить, ведущая к разгадке заговора.

Он открыл глаза, взял со стола расписки и записку, сложил всё в конверт и убрал в сейф. Не сейчас. Не сегодня. Нужно посоветоваться с Сомовым, с Соней, с Ленорман. Нужно понять, насколько это опасно. Нужно взвесить все «за» и «против».

Но где-то внутри, там, где живет тот самый голос, который не раз спасал ему жизнь, что-то шептало: не езд. Не верь. Это ловушка.

Он не послушался.

Соня вернулась с курсов в пятом часу. Она была бледна, взволнованна — кто-то из студентов узнал ее, начал шептаться, показывать пальцем. Ей пришлось уйти с лекции, чтобы не слышать этих перешептываний.

— Папа, — сказала она, бросая конспекты на стол, — это не может продолжаться вечно. Меня травят. Меня! За то, что я твоя дочь!

— Я знаю, Соня, — Гаршин поднялся из кресла, подошел к ней. — И мне очень жаль.

— Тебе жаль? — она отступила на шаг, и в глазах ее сверкнула та самая упрямая искра, которую он знал с детства. — Тебе жаль, папа? А что ты делаешь, чтобы это прекратить? Ты сидишь здесь, в своей конторе, перебираешь старые бумаги, а они там, снаружи, клеймят нас как предателей!

— Я ищу правду, — спокойно ответил Гаршин.

— Ты ищешь правду уже год! — Соня почти кричала. — Ты нашел ее? Нет! Ты нашел только новые загадки, новые письма, новых врагов! А мы платим за это!

— Соня, — Гаршин взял ее за плечи, — посмотри на меня. Я твой отец. Я люблю тебя. Я никогда не хотел, чтобы ты страдала.

— Я знаю, — она всхлипнула, уткнувшись ему в грудь. — Я знаю, папа. Но мне больно. Мне очень больно.

Он обнял ее, прижал к себе, чувствуя, как вздрагивают ее плечи.

— Мы справимся, — сказал он. — Мы всегда справлялись.

— А если нет? — она подняла голову, и в глазах ее стояли слезы. — Если на этот раз мы не справимся?

— Значит, будем бороться до конца, — ответил он. — Как всегда.

Она помолчала, потом кивнула и отошла к окну. Гаршин смотрел на нее, и в душе его поднималась тяжелая, горькая волна. Он сделал ей больно. Он сделал больно всем, кого любил. Жене, которая умерла от яда, подосланного его врагами. Другу, который вынужден был притворяться мертвым, чтобы выжить. Дочери, которая теперь страдала из-за его правды.

Стоило ли это того? Он не знал. Но выбора у него не было.

Сомов вернулся через час, стряхивая с пальто капли дождя. Он был хмур, неразговорчив и сразу прошел к камину, сел в кресло, молча уставился на огонь.

— Что случилось, Андрей Петрович? — спросил Гаршин, садясь напротив.

— Петьку Косого убили, — глухо сказал Сомов. — Сегодня утром, в камере. Удушили подушкой. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал.

Гаршин почувствовал, как земля уходит из-под ног.

— Как это случилось? В участке? Под надзором Ефремова?

— Ефремов отлучился на час, — Сомов потер лицо ладонями. — Думал, что ничего не случится. Оставил двух своих людей. Одного напоили, другого отвлекли. И всё. Петьки нет. Свидетеля нет.

— Кто это сделал?

— А вы не догадываетесь, Лев Ильич? — Сомов поднял на него тяжелый взгляд. — Те же, кто прислал вчерашнюю статью. Те же, кто устроил травлю. Те же, кто запустил слухи о Ключарева и Ленорман. Те, кто не хочет, чтобы правда вышла наружу.

Гаршин молчал. Он думал о том, что Петька был последней нитью, ведущей к заказчику нападения в Летнем саду. И теперь эта нить оборвана. Единственный человек, который мог сказать что-то о том, кто нанял шпану, кто передал слова «Дело № 47 не закрыто», — мертв.

— Вы видели его тело? — спросил он.

— Видел, — Сомов кивнул. — Ефремов показал. На шее — синяки, следы пальцев. Сильные пальцы. Профессионал. Или несколько человек.

— Значит, наш враг не только влиятелен, но и жесток, — Гаршин встал, подошел к окну. — Он не остановится ни перед чем. Он уже убил Петьку. Убьет и других, если они встанут на его пути.

— Что будем делать, Лев Ильич?

Гаршин повернулся, посмотрел на Сомова. Потом на Соню, которая стояла у окна и слушала, бледная, напряженная. Потом на стол, где в сейфе лежали расписки и записка из Женевы.

— Будем искать дальше, — сказал он. — У нас появилась новая нить. Бережной. Тот, кто считался погибшим. Тот, кто жив в Швейцарии. Тот, кто может знать, кто был главным.

— Вы верите этой записке? — спросил Сомов.

— Не знаю, — честно ответил Гаршин. — Но выбора у нас нет. Это единственное, что у нас есть.

— Вы поедете?

— Поеду. Но не один. Я возьму вас, Андрей Петрович. И Федьку. И, может быть, кого-то из людей Ленорман.

— А если это ловушка?

— Значит, будем прорываться, — Гаршин усмехнулся, и усмешка эта была страшнее любого крика. — Мы это умеем.

Соня, которая всё это время молчала, вдруг шагнула вперед.

— Я еду с тобой, — сказала она.

Гаршин обернулся.

— Нет, — ответил он. — Это опасно.

— Папа, я уже взрослая, — её голос дрожал, но в нем слышалась та самая сталь, которая была у матери. — Я не останусь здесь, не зная, что с тобой. Я еду.

— Соня, послушай...

— Нет, это ты послушай, — она подошла к нему вплотную, глядя прямо в глаза. — Я не маленькая девочка, которую можно спрятать в Саратове. Я твой помощник. Я имею право знать, что происходит. И я имею право быть там, где решается моя судьба.

— Соня, — Гаршин взял ее за руку, — если с тобой что-то случится, я себе этого не прощу.

— А если с тобой что-то случится, я себе не прощу, что осталась здесь, — она сжала его пальцы. — Мы вместе, папа. Или никак.

Гаршин посмотрел на нее долгим, тяжелым взглядом. Потом перевел взгляд на Сомова. Тот молчал, но в глазах его читалось понимание.

— Хорошо, — сказал наконец Гаршин. — Едем вместе. Но ты делаешь всё, что я скажу. Без самостоятельности. Ты меня поняла?

— Поняла, — она кивнула и улыбнулась сквозь слезы. — Спасибо, папа.

— Не за что, — он обнял ее. — Не за что.

Они стояли втроем у камина — сыщик, его дочь и его верный помощник, — и в голове каждого из них уже вызревал план. Женева. Бережной. Сделка. Правда, которая может оказаться страшнее лжи, и ложь, которая может оказаться единственной правдой.

Завтра они начинали собираться. Послезавтра — выезжали. А сегодня нужно было отдохнуть, набраться сил и помянуть Петьку Косого — того, кто, несмотря на всё свое воровское прошлое, был последним свидетелем, и чья смерть стала еще одним камнем в фундаменте заговора, который они пытались раскрыть.

Гаршин подошел к столу, достал из сейфа конверт с расписками и запиской, положил его в карман сюртука — туда, где лежал золотой жетон императора.

— Завтра, — сказал он, — завтра мы начнем новую охоту. А сегодня — будем готовиться.

Он потушил лампу и пошел в спальню. Впереди была долгая, трудная дорога. Но он знал: правда стоит того, чтобы за нею ехать на край света.

Даже если этот край окажется ловушкой.

Глава 6.

Вечер того дня, когда Гаршин получил анонимные расписки, выдался на редкость темным. Луна, еще вчера щедро заливавшая улицы серебряным светом, сегодня спряталась за тяжелыми тучами, и Петербург погрузился в такую черноту, что фонари казались не источниками света, а одинокими островками надежды в бесконечном, холодном море мрака.

Соня задержалась на курсах дольше обычного — преподаватель римского права, старый чудака, увлекся разбором какого-то сложного казуса и не заметил, как пробило девять часов. Когда она наконец выбежала на улицу, вдохнула холодный, сырой воздух и поправила сползающую с плеч шаль, то с удивлением обнаружила, что привычный извозчик, который обычно ждал ее у подъезда, сегодня исчез. Вместо него на углу стоял другой — невысокий, коренастый, с лицом, скрытым под надвинутой шапкой.

— Барышня, вам куда? — спросил он, когда Соня подошла ближе. Голос у него был сиплым, неприятным — таким, который редко встречается у коренных петербургских извозчиков.

— На Малую Садовую, — ответила она, уже берясь за поручень, чтобы забраться в экипаж.

— Садитесь, домчу в лучшем виде.

Она села, устроилась на жестком сиденье, поправила юбки. Извозчик тронул лошадь, и экипаж, громыхая колесами по торцам, покатил в сторону Невского. Соня откинулась на спинку, закрыла глаза — день был тяжелым, и ей хотелось только одного: оказаться дома, в тепле, рядом с отцом, выпить горячего чая и забыться хотя бы на час.

Она не заметила, что экипаж свернул не туда.

Первые минуты она просто наслаждалась темнотой и покоем. Потом, когда монотонный стук колес сменился каким-то иным, более неровным ритмом, а уличные фонари стали попадаться все реже, она открыла глаза и выглянула в окошко.

Вместо знакомых, обжитых улиц — Малой Садовой, Невского, Фонтанки — вокруг были какие-то глухие, незнакомые переулки, застроенные складами и старыми, покосившимися домами. Ни души, ни огонька, только черные провалы окон и редкие, едва теплящиеся фонари, которых здесь, похоже, не меняли со времен Николая Первого.

— Простите, — обратилась она к извозчику, — вы не туда едете. Мне нужно на Малую Садовую.

Извозчик не ответил. Только хлестнул лошадь, и та, всхрапнув, рванула быстрее.

— Послушайте! — Соня повысила голос, и в нем зазвучало то самое, отцовское — требовательное, не терпящее возражений. — Остановите сейчас же! Я требую!

В ответ — тишина. И только стук копыт, гулкий, зловещий, как удары молота по камню.

Соня поняла. Всё поняла — тот холодный, липкий страх, который вдруг сковал ее внутренности, был не просто испугом. Это было знание. Она в ловушке. Этот извозчик — не извозчик. И везут ее не домой.

Она рванула дверцу — заперта. Дернула вторую — тоже. Ручки были сняты, а задвижки забиты снаружи. Экипаж превратился в клетку, катящуюся по ночному городу в неизвестном направлении.

— Помогите! — закричала она, но крик ее утонул в шуме колес и в далеком, равнодушном грохоте большого города. — Кто-нибудь! Помогите!

Никто не отозвался.

Второй раз Гаршин услышал выстрелы в десятом часу. Первый был далеко, со стороны Лиговки — он тогда не придавал ему значения, мало ли в Петербурге стреляют по ночам. Но второй — второй был близко, очень близко, у самого дома, и после него раздался крик, пронзительный, женский, полный ужаса и боли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.